

© 2024. М. Д. Кузьмина

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена г. Санкт-Петербург, Россия

Образ Петербурга в письмах А. И. Герцена 1839 г.

Аннотация: В статье исследуются декабрьские письма А. И. Герцена 1839 г., которые он писал из Петербурга, прибыв туда впервые и проведя там десять дней. Главной темой обсуждения в указанных письмах стала Северная столица. В глазах Герцена 1839 г. Петербург предстает городом европейской культуры, которую он узнает как «свою» и восторженно принимает. Писатель очарован в ней отдельными локусами (Эрмитаж, театр, Медный всадник и т. п.) и определенными людьми (В. А. Жуковским, В. Г. Белинским). С другой стороны, Петербург видится Герцену аномальным и inferнальным, принципиально «чужим» для него пространством (с холодным высшим светом, равнодушной «толпой» «посторонних», неблагоприятными погодными и климатическими условиями), вызывающим у него ужас и отторжение. Создаваемый писателем образ Северной столицы — органичная часть Петербургского текста русской литературы.

Ключевые слова: А. И. Герцен, петербургские письма, эпистолярный, травелог, путевой дневник, образ Петербурга, inferнальное пространство.

Информация об авторе: Марина Дмитриевна Кузьмина, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ул. Большая Морская, д. 18, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, набережная реки Мойки, д. 48, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>
E-mail: mdkuzmina@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 29.02.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 04.05.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Кузьмина М. Д. Образ Петербурга в письмах А. И. Герцена 1839 г. // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 64–81. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-64-81>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,

vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. ISSN 2686-7494

Two centuries of the Russian classics,

vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Marina D. Kuzmina

St. Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design,
Herzen State Pedagogical University of Russia
St. Peterburg, Russia

The Image of St. Petersburg in A. I. Herzen's Letters in 1839

Abstract: The article examines the December 1839 letters of A. I. Herzen, which he wrote from St. Petersburg, having arrived there for the first time and spent ten days there. The main topic of discussion in these letters was the northern capital. In the eyes of Herzen in 1839, St. Petersburg appears as a city of European culture, which he recognizes as “his own” and enthusiastically accepts. The writer is fascinated by certain loci (the Hermitage, the theater, the Bronze Horseman, etc.) and certain people (V. A. Zhukovsky, V. G. Belinsky). On the other hand, St. Petersburg appears to Herzen as an anomalous and infernal, a space that is fundamentally “alien” to him (with a cold high society, an indifferent “crowd” of “outsiders,” unfavorable weather and climate conditions), causing him horror and rejection. The image of the northern capital created by the writer is an organic part of the St. Petersburg text of Russian literature.

Keywords: A. I. Herzen, Petersburg letters, epistolary, travelogue, travel diary, image of Petersburg, infernal space.

Information about the author: Marina D. Kuzmina, PhD in Philology, Associate Professor, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Bolshaya Morskaya St., 18, 191186 St. Petersburg, Russia; Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Emb., 48, 191186 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>

E-mail: mdkuzmina@mail.ru

Received: February 29, 2024

Approved after reviewing: May 04, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Kuzmina, M. D. “The Image of St. Petersburg in A. I. Herzen's Letters in 1839.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-64-81>

Статья посвящена изучению образа Петербурга по письмам А. И. Герцена от декабря 1839 г., написанным в течение десяти дней, которые он провел в Северной столице. Эти письма в статье рассматриваются в свете традиций, с одной стороны, травелогов, с другой стороны, Петербургского текста русской литературы. Травелого, как известно, были очень популярны в России в 1800–1830-е гг. Они нередко облекались в форму частных писем. Впервые прибыв в Петербург, создавая его объективно-субъективный образ, Герцен развивал традиции путевой литературы. И вместе с тем делал это очень по-своему, переосмысляя их и выходя за их рамки. Исследователи Петербургского текста уделили его образу Северной столицы незаслуженно малое внимание и практически совсем проигнорировали письма 1839 г. — то, с чего этот образ начинался, в чем проявилось его разительное своеобразие и вместе с тем аутентичность. Задачу восполнить этот пробел выполняет предпринятое исследование.

Н. П. Анциферов начал свою знаменитую книгу «Душа Петербурга» с А. И. Герцена, с зарисованного им в «Былом и думах» образа Венеции, в котором он, по мнению исследователя, запечатлел ее «душу». По его же наблюдению, ранее писателю это удалось и в отношении Северной столицы. Н. П. Анциферов, правда, опирается на герценовские сочинения периода полемики западников и славянофилов и последующие. Он выделяет Герцена на фоне его современников: «К сожалению <...>, для обоих борющихся групп Петербург оставался только символом. Славянофилы не знали его лица и знать не хотели. <...>. Но и западники, защищавшие дело Петра, не знали души Петербурга, да и как-то не умели к ней подойти. В сущности, они не любили Петербурга <...>. Один Герцен сумел заглянуть в подлинный лик города...» [Анциферов: 97–98]; «...Герцен был слишком многогранен и чуток, чтобы душа Петербурга не взволновала <...> его» [Анциферов: 99]. В действительности же она стала открываться ему уже в 1839 г., когда

он впервые прибыл в Северную столицу и пробыл в ней десять дней (с 14 по 23 декабря), в течение которых ежедневно писал письма, рисуя в них ее образ и делаясь впечатлениями. Эти послания не попали в сферу внимания не только Н. П. Анциферова, но и В. Н. Топорова. Исследуя в своем знаменитом труде Петербургский текст русской литературы, ученый недооценил вклад в него Герцена, едва упомянув имя писателя, также в связи с воззрениями западников и славянофилов — и лишь отметив, что он наряду с Белинским создал «публицистический», отчасти «пред-историософский» образ Петербурга» [Топоров: 24]. В его декабрьских письмах 1839 г. этот образ еще не «публицистический» и не «пред-историософский», однако не менее интересный. Особенно любопытно, что в нем исподволь раскрываются глубинные смыслы образа города и Петербургского текста, выявленные в исследовании В. Н. Топорова на основе рецепции других литераторов.

В течение десяти декабрьских дней, проведенных в Петербурге, Герцен ежедневно писал своей молодой супруге Наталье Александровне, оставшейся во Владимире с их полугодовалым сыном. Ей адресовано шесть писем, некоторые из них создавались в течение нескольких дней. И лишь одно письмо было направлено другому адресату — их общему другу, жене владимировского губернатора Юлии Федоровне Курута. Все семь рисуют целостный образ герценовского Петербурга.

Создававшиеся ежедневно, письма к жене представляют собой, по точному наблюдению М. К. Перкаля, «...своеобразный дневник <...> пребывания в столице» [Перкаль: 31]. Надо отметить, что дневник одновременно личный и путевой. Сознательно или нет, Герцен развивает традиции обоих жанров в своем эпистолярном тексте. Приватные письма, как и личный дневник, предполагали непринужденность и доверительность, фиксирование и наблюдений, и впечатлений. Те же возможности давал путевой дневник и в целом травелог, очень популярный в первой трети XIX в. Характерно, что он зачастую облекался в форму приватного письма. Традиции травелога оказались наиболее актуальны для петербургских писем Герцена, поскольку он только что впервые и ненадолго прибыл в Северную столицу, находясь в ней в качестве гостя-путешественника.

В соответствии с этими традициями, молодой эпистолограф ориентирован на описание пути и сообщение впечатлений («Вот тебе подробности путевые. Поехал я 11-го в дилижансе, погода была скверная,

гостиницы зато прекрасные...» [Герцен 22: 61]), с одной стороны, подчиненное логике (это логика самой траектории движения, а также переход от внешнего к внутреннему, от очевидного к неочевидному, от панорамного к детальному и т. д.), а с другой — непосредственное, ведь свобода — неотъемлемая составляющая путешествия, тем более путевых записей в форме частных писем (ср.: «...я здесь еще не огляделся. <...> не сердись на мои бессвязные записки, дай устояться», «...все еще волнуется, беспорядок ужасный, много-много нового — образов и мыслей, ощущений и Бог знает чего; все это еще не приняло формы, неясно» [Герцен 22: 61]). Эти письма нацелены и на охват привычных для путешественников аспектов темы: погода, природа, пейзажи, архитектура, достопримечательности, культурная жизнь — театры, музеи. В традициях травелога, наконец, и сопоставление того нового, «чужого», что открылось взгляду, со «своим».

Тем очевиднее на фоне этих «топосов» путевых текстов — своеобразие герценовского. Молодой эпистолограф вроде бы посещает те же места, что и все приезжающие, однако то и дело отклоняется от общепринятого туристического маршрута под влиянием личных впечатлений, интересов и предпочтений. Так, почти сразу по прибытии он отправился в родное для супруги и, следовательно, дорогое для него самого пространство: дом, где прошло ее раннее детство. Заключение о нем делается объективно-субъективное, с акцентом на второй компонент: «...сегодня был я в вашем доме и ушел скоро, что-то грустен он, разваливается» [Герцен 22: 61], — столь значимый, что им определяется поведение автора письма («ушел скоро»), и обозначенное им состояние переносится на сам дом («что-то грустен он»). Еще одно место, также посещенное Герценом сразу по прибытии, — Сенатская площадь, связанная, понятно, с восстанием декабристов, событием, дорогим для молодого писателя, въехавшего в Петербург как раз в его годовщину — 14 декабря. Налицо очень характерный для Герцена синтез личного и сверхличного, общественно значимого. Сверхличному, гражданскому — служению Родине и человечеству — он смолоду, с момента клятвы на Воробьевых горах, посвятил свою жизнь; так что это служение принципиально неотделимо у него от личного, от всей жизни. Но если отзываться о доме детства в письмах супруге можно было совершенно свободно, то развивать тему памяти декабристов в переписке, которая, вероятно, будет перлюстрирована, тем более что он только что освобо-

дился из ссылки, — было невысказано. Она едва означена упоминанием о находящемся на площади на тот момент недостроенном соборе: «Хороша будет Исаакиевская церковь...» [Герцен 22: 61–62]. Как известно из написанных годы спустя «Былого и дум», Герцен поднял тему декабристов в тот же вечер, 14 декабря 1839 г., вернувшись в гостиницу и застав у себя двоюродного брата С. Л. Левицкого, в разговоре с ним, к ужасу своего посетителя.

Посещая общепринятые туристические места, Герцен их воспринимает глубоко лично. В обычном для путевой литературы сочетании объективного и субъективного акцент вновь делается на вторую составляющую. Так, из всех архитектурных достопримечательностей писателем выделен Зимний дворец, затмивший для него все остальные здания, оставшиеся как бы не увиденными и не описанными, вопреки традиции тревелогов; так что полной картины Северной столицы в письмах нет: «Всего больше меня поразил Зимний дворец своей наружностью, я не смотрел, стоя у колонны, ни на главный штаб, ни на министерство, а на один дворец — лучше я ничего не видывал...» [Герцен 22: 61], «...одно здание привело меня в восторг — это Зимний дворец, дивно-чудное здание...» [Герцен 22: 63]. Из всех памятников увиден Медный всадник — и воспринят опять очень по-своему: «...чудно хорош и монумент Петра, но в нем мне именно все нравится, кроме Петра: какое-то натянутое, педантски-академическое положение, зато лошадь и огромная масса гранита как пьедесталь (так в тексте письма. — М. К.) великому царю выкупают все» [Герцен 22: 62]. Нельзя не заметить в этих словах иронию. В них изящно выражено герценовское непринятие монархии. Отринув фигуру Петра — центр, «душу» монумента, — гость-путешественник его восхваляет, принимая в нем, во-первых, «лошадь» (характерен выбор лексемы — «лошадь», а не «конь», за счет чего идет снижение образа, его дегероизация), во-вторых, «массу гранита», — восхваляет, разумеется, ехидно.

Характерно, что Герцена привлекают архитектурные и культурные артефакты. Как показал Ю. М. Лотман, это часть семиотики и символики Северной столицы, неотъемлемая часть облика которой — «камень», но «...не “природный”, “дикий” (необработанный), не скалы, искони стоящие на своих местах, а принесенный, обточенный и “человеченный”, окультуренный. Петербургский камень — артефакт, а не феномен природы» [Лотман: 32–33].

Эти общезначимые и общеизвестные артефакты молодой эпистолограф воспринимает и передает по-своему. Как можно видеть, то ощущения (в отношении Зимнего дворца), то суждения (в отношении Медного всадника) у него берут верх. С опорой на ощущения и суждения делаются промежуточные выводы: «...первое впечатление по въезде было не в пользу Петерб<урга>...» [Герцен 22: 64], «Я больше и больше вглядываюсь в Петерб<ург>. Ко многому привык, ко многому никогда не привыкну» [Герцен 22: 64]. Их своеобразие под пером Герцена — в предельной лаконичности, сдержанности и безоценочности. Он не спешил с выводами, желая проверить свои впечатления. В его письмах гораздо весомее роль умозаключений, чем у его современников, авторов многочисленных травелогов, что тем более примечательно, ведь он выступает в роли автора не травелога, а семейных писем, где мог бы дать волю впечатлениям. Уже в этих письмах он предстает писателем-мыслителем, которым он, как известно, и войдет в историю русской литературы.

Обычное для травелогов сопоставление «чужого», нового, впервые открывшегося взгляду, и «своего» играет, в этой связи, архиважную роль в письмах Герцена, но тоже репрезентируется очень своеобразно. В роли «своего» выступает не только и не столько московское, как можно было бы ожидать, сколько европейское. То есть традиция выворачивается наизнанку, ведь в соответствии с ней путешественник, прибывший на Запад, соотносил западные реалии с родными, русскими — скажем, с теми же московскими. Между тем Герцен в Европе на тот момент даже не был, только мечтал совместно с Натальей Александровной посетить ее. Одной из целей его поездки в Петербург было испросить разрешение на путешествие. И однако из письма в письмо повторяется: «Всего больше меня поразил Зимний дворец <...> — лучше я ничего не видывал даже на картинах, он что-то припоминает Эскуриал, впрочем» [Герцен 22: 61], «...может, одни Pallazzi в Венеции и Эскуриал могут стать с ним на одну доску...» [Герцен 22: 63], «...меня поразила Loggia Рафаэля, сделанная совершенно по ватиканской» [Герцен 22: 67]. Более того, соотносится не только петербургское с европейским, но и европейское с европейским. В таком ключе, например, эпистолограф отзывается о картинах, экспонируемых в Эрмитаже («Фламандская школа. Страсть люблю эти сцены, вырванные из клокущей около нас жизни, это другая сторона искусства. У итальянцев идеализация тела,

здесь — жизни» [Герцен 22: 67]) и о Зимнем дворце («...самый беспорядок этих пристроек, дополнений, разнохарактерность частей, — все придает ему то широкое, многообразное изящество, которое находим мы в трагедиях Шекспира» [Герцен 22: 63]). Это европейское, знакомое книжно, но превосходно. Оно стало неотъемлемой частью личности, ее культурного фонда — настолько непринужденно припоминается и становится мерилom для оценки нового; настолько восхищает — лейтмотивом звучит: «меня поразил», «поразила», «страсть люблю» и т. п. Это восторг не в отношении увиденного нового (в данном случае петербургского), как обычно бывает в травелогах, а в отношении «своего», в данном случае европейского. В Герцене уже к концу 1830-х гг. виден русский европеец, будущий западник.

Характерно, что при посещении театров его выбор пал на постановку пьесы Шекспира (в Александринском театре), выступления французской труппы (в Михайловском, где он посмотрел комедию «Фрискати, или Государственная тайна» и водевиль «Парижский мальчишка») и прославленной итальянской балерины Марии Тальони (на сцене Большого театра); перед отъездом он послушал оперу Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» (также в Большом). И в Эрмитаже гость-путешественник проявляет интерес к европейскому искусству. Он выделяет прежде всего шедевры Рафаэля, особенно «Мадонну». Обращает внимание на работы фламандского живописца Д. Тенирса, голландца А. ван Остаде и т. п. Правда, это была самая крупная коллекция Эрмитажа, насчитывавшая около восьмисот полотен. Наверное, она не могла не обратить на себя его внимания. Возможно, и в целом Петербург, проевропейский город, располагал новоприбывшего к рецепции в первую очередь плодов европейской же культуры. Либо это совпадения, которых, впрочем, многовато. Как бы то ни было, письма Герцена свидетельствуют о его интересе к западному искусству и о непрофессиональном, разумеется, но тем ценнее — знании этого искусства. Характерна его требовательность к себе, неудовлетворенность достигнутым — поверхностным, на его взгляд, — уровнем («Несколько картин Рафаэля — узнал ли бы я его без подписи? Из всех узнал бы одну (<...> это моя уозьть <...>) — Мадонна и старик Иосиф» [Герцен 22: 66]); характерны и, с одной стороны, стремление делать свои собственные наблюдения, выносить суждения о европейских произведениях искусства, с другой — желание выразить к последним личное отношение,

которое, как показывают письма, у него всегда имеет место. Суждения и впечатления под его пером обычно предстают нераздельными. В совокупности они выражают две дополняющие друг друга грани герценовского европеизма и еще раз свидетельствуют о глубокой укорененности, органичности у него этого умонастроения.

Интересно, что Герцен описывает свое посещение Эрмитажа в той же традиции, в какой Карамзин в «Письмах русского путешественника» и авторы последующих травелогов описывали посещение европейских галерей — в частности, Дрезденской. Удивительная на первый взгляд, эта его стратегия может быть объяснима тем, что его интересуют подобные экспонируемые в них европейские шедевры. Предшественники молодого эпистолога тоже стремились к сочетанию суждений и впечатлений, тоже отмечали, что исчерпывающая характеристика увиденного невозможна (ср. у Герцена: «...не жди ни описаний, ничего. Какой гигант должен быть тот, кто может сразу оценить, почувствовать, восхищаться 40 залами картин. Тут надобно месяц времени» [Герцен 22: 66]), тоже создавали его объективно-субъективные образы. Специфика герценовских — в том, что они менее объективны (это и понятно, ведь он пишет письмо к жене, а не травелог для широкого круга читателей с целью в том числе их просвещения), но одновременно и менее субъективны, по сравнению с запечатленными в частных письмах многих авторов. К примеру, Ивана Киреевского, который увидел в «Мадонне» свою сестру «Машку» [Киреевский: 292]. Совсем в другом ключе герценовская рецепция картины: «Чем дольше я всматривался в черты Мадонны, тем отраднее становилось в душе, слезы навертывались, какая кротость и бесконечность во взоре, какая любовь струится из него, вот так человеческое лицо есть отпечаток Божественного духа. И Ребенок очень хорош, Он как-то *задумчиво* (курсив Герцена. — М. К.) улыбается Иосифу...» [Герцен 22: 66–67]. Никакой фамильярности (несмотря на то, что в добрачной переписке он уподоблял «Мадонне» свою Наталью Александровну, на тот момент невесту; ср.: «...здорова ди ты, мой ангел, моя Мадонна?» [Герцен 22: 229], «Любовь — она одна должна была преобразить меня. И явилась ты — моя Мадонна!» [Герцен 22: 234]), низведения шедевра до бытового уровня — и вместе с тем никакой формализации. Герценовская рецепция искренняя, живая, личная (более живая и личная, чем в письмах Петра Киреевского), убедительная. Думается, ему удалось достичь оптималь-

ного для частного письма синтеза объективного и субъективного, при ведущей роли второго компонента. Его ведущая роль была обусловлена во многом тем, что это письма к супруге, автор и адресат — оба идеалисты (хотя к концу 1830-х гг. период их молодости и романтической восторженности завершился), для которых важнее всего душа и отнюдь не внешняя, а внутренняя жизнь. Более того, они планируют переезд в Петербург (по настоянию отца Герцена, И. А. Яковлева, полагавшего, что сын сможет там быстрее получить чин коллежского асессора, дававший дворянство и право наследовать имение) — соответственно, для них вопрос первостепенной значимости, насколько это их город, каково им будет там. Проведшая в Петербурге только первые годы жизни, Наталья Александровна его не помнила, не знала, так что автор писем составляет о нем объективно-субъективное представление с акцентом на второй компонент — для себя и для нее.

Въезжавший в Северную столицу, по точному наблюдению Е. Л. Румановской, с «романтическими ожиданиями» [Румановская: 306] (характерны строки из первого письма: «Петербург будет для меня великой поэмой, которую я буду читать...» [Герцен 22: 61]), Герцен, думается, в соответствии с ними же попытался увидеть город с его чарующей путешественника неоспоримо выигрышной стороны. Исследовательница справедливо заметила, что Зимний дворец описывается Герценом в письмах 1839 г. «...с эстетической, а не с политической точки зрения...» [Румановская: 306], тогда как «через 16 лет, рассказывая в “Былом и думам” об этой поездке и о пребывании на петербургской службе в 1840–1841 гг.», автор обрисует «ярчайшую картину монаршего и полицейского произвола, выражением которого стал в его произведении Петербург» [Румановская: 307], — обрисует, «...оставляя за скобками <...> архитектурные красоты...» [Румановская: 308]. Вообще образ Петербурга под его пером будет обретать, с одной стороны, многогранность, с другой — как ни парадоксально, однобокость. Он будет сильно политизироваться и оцениваться резко негативно [Перкаль; Румановская; Штейнгольд]. «Былое и думы», как и многие другие поздние сочинения Герцена, будут создаваться на Западе после эмиграции. Пока же, в России, в письмах, которые могут быть доступны для чужих глаз, Герцен, разумеется, не имел возможности свободно изъясняться. И, кроме того, он на тот момент, в десять декабрьских дней, проведенных в Северной столице, еще не открыл для себя в полной мере со-

средоточенную в ней «картину монаршего и полицейского произвола». Наблюдение Е. Л. Румановской справедливо в отношении не только Зимнего дворца. Одна из ярчайших особенностей образа Петербурга в герценовских письмах 1839 г. — его «эстетичность». Он строится очень выборочно: внимание эпистолографа сосредоточено на объектах культуры. Видя связь между залами Эрмитажа и трагедиями Шекспира, посещая постановки пьес последнего в театре, молодой романтик «читает» Петербург как «поэму», как книгу. Эстетическую сторону Петербурга он готов принимать даже с «восторгом».

Второе, что он готов принимать в Петербурге тоже с «восторгом», — это люди. Прибыв в Северную столицу, Герцен посещает родных, друзей, братьев по перу: брата и сестру Натальи Александровны А. А. Яковлева (Химика) и А. А. Орлову, друга отца О. А. Жеребцову, В. А. Жуковского; видится и продолжает начатые в Москве споры с В. Г. Белинским.

Но ни «человеческая», ни «эстетическая» сторона Петербурга не повлияют на итоговое — отрицательное — заключение Герцена о нем, взвешенное, сделанное уже по выезде из него, в Москве. Оно основывается на сравнении с ней как со «своим» пространством, сравнении в ее пользу: «Я смертельно обрадовался, въехав в Москву. Москва не заменится в моей душе Петерб<ургом>, и не по одним воспоминаниям. Петербург, холодный, угрюмый, полурусский, покрытый туманом, совсем не то, что наша Москва, звонящая тысячью колоколами, народная. А климат Петерб<урга>! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать» [Герцен 22: 68–69]. Это суждение подготавливалось исподволь.

От письма к письму под пером Герцена в образе Петербурга аккумулируются субъективные семы — странно, безрадостно, страшно: «...я в Петербурге, не странно ли...» [Герцен 22: 61], «...я уныл <...> я грустен, не пора ли домой?» [Герцен 22: 62], «Мы готовимся переехать сюда, много страшного в этом» [Герцен 22: 62], «...здесь ежели люди мешают мне меньше, нежели в Москве, так дома, улицы мешают, и не то чтоб я на них радовался, или чему-нибудь радовался, нет, как-то первое впечатление по въезде было не в пользу Петерб<урга>, и сердце сжалось, и до сих пор не доступно истинной радости...» [Герцен 22: 62], «Мне что-то страшна и даль от Владимира, и одиночество в этой огромной массе людей; должно быть, я скоро отсюда уеду. Я здесь не дома, в дили-

жансе я как-то привык жить, а здесь нет» [Герцен 22: 63], «Климат здесь для непривыкшего ужасный...» [Герцен 22: 67], «А климат Петербурга! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать» [Герцен 22: 69], «Этот ужасный и решительный вопрос — Москва или Петербург (как место жительства. — М. К.) — так страшно явился, и требовал, как в военном суде, решения в 24 часа...» [Герцен 22: 69]. Налицо градация: странно — страшно — ужасно.

Петербург в глазах Герцена — город отсутствия основных составляющих жизни: воды («А моря нет, и Невы нет» [Герцен 22: 62] — декабрь, река покрыта льдом), солнца, света, тепла («...мне кажется, с тех пор, как я приехал, все продолжается одна вьюга, неба не видать, дни продолжаются 4 часа, и темным, холодным ночам не помогают газовые фонари» [Герцен 22: 67], «...солнце здесь живет бонтонно, встает в 10-м часу утра и такое бледное, торопливое, как все петербургские жители...» [Герцен 22: 63]); город, погруженный во тьму и холод. Обретшие экспансию, тьма и холод гиперболизируются. Петербург предстает непригодным для жизни (примечательна, в частности, нездоровая «бледность» жителей), inferнальным и фантазмагоричным.

Симптоматично, что в нем нет не только света и тепла, но и Невы — одного из неотъемлемых атрибутов, лица города, наряду с Зимним дворцом, Медным всадником, Невским проспектом. Последний Герцен вовсе не описывает, его как бы нет. Вместе с тем — то есть, то нет; и есть, и нет. Образ Петербурга предстает мерцающе-переменчивым, миражным. В какой-то момент эпистолограф признается, что испытал желание «...бежать к Неве, на Невский проспект...» [Герцен 22: 64]. Аналогично в отношении людей. Их как бы нет — герценовский Петербург ненаселен, пуст. Вместе с тем они есть: речь идет и об отдельных близких людях, с которыми состоялись бесценные встречи, и об «огромной массе людей», в которой «одинок», о «петербургских жителях», «бонтонных», «бледных» и «торопливых», под стать петербургскому солнцу. Они есть, их много, но они неживые — это холодный высший свет, «толпа», «посторонние» (последнее слово — одно из очень употребительных в герценовском лексиконе). Они вдвойне чужие новопривышему. Вероятно, по обеим причинам их как бы нет. Схожим образом эпистолограф изображает климатические условия — минус вдруг меняется на плюс. Правда, лишь в прогнозе, если он не обманет: «...все продолжается одна вьюга, неба не видать <...>. Зато обещают чудные

ночи в мае, на берегах Невы — и их-то мы увидим вместе, мой друг!» [Герцен 22: 67], «А климат Петер<бурга>! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать. <...>. Но дело решено. И мы весною в Петерб<урге>, а Петер<бург> весною хорош, и у него есть майские ночи, лунные, приморские» [Герцен 22: 69]. «Лунные» белые ночи — парадокс, родившийся под пером никогда не видевшего белых ночей москвича, но парадокс, очень органичный в общем контексте петербургских писем Герцена, венчающий целую цепочку соприродных ему парадоксов¹.

Герценовский Петербург оказывается схож с его же Вяткой, местом недавней ссылки (и даже превосходит ее в отношении странно-страшного, поскольку она была inferнальна, но не фантазмагорична [Кузьмина 2011; Кузьмина 2012]), еще более — с гоголевским Петербургом. Автор писем по-своему вторит автору «Невского проспекта» (1835), «Носа» (1836) и других «петербургских» повестей, репрезентирующих гротескный, абсурдно-аномальный образ Северной столицы — пространства мертвяще-темного, холодного, странно-страшного, в котором возможны самые немыслимые превращения, — как, в частности, сформулировано в знаменитых строках первой из них: «Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект (метонимическое обозначение всего Петербурга. — М. К.), но более всего тогда, когда ночь стуженною массою наляжет на него <...>, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» [Гоголь: 45–46]. И, опять же, герценовский Петербург превосходит гоголевский в плане странно-страшного. В нем «продолжается одна вьюга, неба не видать». В нем не слышно никаких звуков — это зияюще-мертвая пустота. Город предстает inferнальным и гротескно-фантазмагоричным не потому, что он чиновничий, ориентированный на ложные — материальные — ценности (деньги, карьера), как

¹ Они не уйдут из герценовского образа Петербурга и годы спустя. Анализируя статью 1842 г. «Москва и Петербург», А. М. Штейнгольд обращает внимание на такие из них, как «фронты и разводы мирных военных занятий», «поэты в III отделении собственной канцелярии» и «III отделение собственной канцелярии, занимающейся поэтами» и пр. [Штейнгольд: 280].

в повестях Гоголя. Герцен и сам планирует там служить, подобно их персонажам. В его глазах Петербург инфернален и гротескно-фантазмагоричен на экзистенциальном уровне — такова сама его природа, это ничем земным в достаточной степени не мотивировано, и это открывается душе (хотя, конечно, нельзя не учитывать того, о чем умалчивается в письмах, но что прочитывается между строк: в понимании их автора — это центр имперской власти, от которой и он сам, и не только он пострадал; и как еще пострадает в 1840-е гг., когда поселится в Северной столице). Ей открывается «душа Петербурга». Очень интересны многочисленные совпадения в герценовском образе Северной столицы с ее смыслами, выявленными в труде В. Н. Топорова на другом, «негерценовском» материале. Ср.: «...призрачный, миражный Петербург», неотделимый от «мифа и всей сферы символического» [Топоров: 7], «бесчеловечный» город, «бездна, “иное” царство, смерть» [Топоров: 8], город, вызывающий «метафизический страх», «ужас жизни» [Топоров: 30]; «эсхатологичный» город [Топоров: 47] и т. п.

Как можно видеть, «ужас» связан у Герцена по большей части с природной стороной Петербурга. Под его пером своеобразно и очень ярко преломилась отмеченная Ю. М. Лотманом «...вечная борьба стихии и культуры», реализуемая «...в петербургском мифе как антитеза воды и камня» («артефакта, а не феномена природы») [Лотман: 32].

Эстетическая сторона Северной столицы (Эрмитаж, театры) и близкие сердцу люди лишь отчасти примиряют — и одновременно принципиально не примиряют Герцена с Петербургом. Думается, постольку, поскольку, собственно, Петербургу не совсем принадлежат. И музейные экспонаты, и люди легко могут быть перемещены в другое пространство. Да даже и сейчас они представляют либо европейское, либо личное (родственные и дружеские связи) пространство — внутри петербургского. Симптоматично, что они и не учитываются Герценом в его итоговой оценке Северной столицы на страницах московского письма. Пребывание в этих двух внутренних — личном и европейском — пространствах стало для гостя-путешественника отдушиной во внешнем странно-страшном петербургском, попыткой выжить в нем, противостоять его мертвящему влиянию. Как еще более действенное «противоядие» Герцен воспринимает письма «своей Наташи» [Герцен 22: 64], возвращающие ему простор души (а то ведь по прибытии в Северную столицу у него «сердце сжалось» [Герцен 22: 64])

и замерло в этом состоянии), радость жизни. Символично, что именно после их получения и означенных внутренних преобразований путешественник начинает видеть исчезнувшие было Неву и Невский проспект («Пришел домой — твое письмо. Я прочел его — и точно, как бывало в Вятке, мне сделалось узко в комнате, захотелось бежать к Неве, на Невский проспект...» [Герцен 22: 64]). Мираж, фантазмагория Петербурга лишаются власти над ним. Наталья Александровна выполняет ту же функцию его спасения, что и в годы вятской ссылки (ср. в его письмах к ней того периода: «...твое письмо потрясло меня, и это не первый раз. Оттаял лед души моей» [Герцен 21: 48], «...твои записки на меня имеют дивное действие: это струя теплоты на морозе, дыхание ангела на мою больную грудь. Завидую твоей чистоте, святости твоей души» [Герцен 21: 50], «Отдаленный от всех друзей, один голос вызывал меня из тяжелого усыпления, и этот голос был не мужской, а чистый голос, святой голос девы, и эта дева — ты, да, твои записки всегда пробуждали меня...» [Герцен 22: 57] и т. п.), однако симптоматично, что этот сюжет и образно-метафорический ряд теперь в письмах не развиваются. Герцен постепенно изживает юношескую мечтательность.

Полномочия Натальи Александровны оказываются ограничены против петербургского пространства. Взяв над гостем-путешественником такую власть, Петербург подтверждал свою инфернально-фантазмагорическую сущность, отображенную в герценовских письмах. Пребывая в этом пространстве, их автор становится ему подобен — «перенимает» его онтологические качества. Петербург «угрюмый» [Герцен 22: 68] — и он «уныл», «грустен» [Герцен 22: 62], у него «сердце сжалось, и <...> не доступно истинной радости» [Герцен 22: 64]. Петербург «полурусский» [Герцен 22: 68] — и его влечет в Петербурге исключительно западноевропейское искусство. Петербург абсурдно-фантазмагоричен, парадоксален — и его поведение утрачивает логичность: несмотря на произведенное Северной столицей неприязненно-жуткое впечатление, Герцен принимает решение туда переехать. Очевидно, не в последнюю очередь надеется на спасительное сопребывание с ним в дальнейшем в этом городе «его Наташи» и их маленького сына; на то, что они создадут в петербургском свое пространство, способное противостоять петербургскому. Определяется очевидная градация: пространство души (одно на двоих, так как одна на двоих душа; ср. строки к нему его еще более восторженно-романтической, чем он сам,

супруги: «...ты со мною, во мне, <...> наши души одна душа...» [Из владимирской жизни: 74], — продолжавшие любимую тему добрачной переписки) — семьи — Петербурга. Градация, на первый взгляд, восходящая — по принципу расширения. В действительности же нисходящая, ведь, по убеждению обоих супругов, первые два больше третьего. «...Удивительно необъятна душа человека, — писал Герцен Наталье Александровне, — что может ее наполнить до краев? Океана мало, Петербурга мало; может одно — душа любящая» [Герцен 22: 62].

Пока же Герцен, разрывая путы петербургского пространства, в котором пробыл десять дней вместо планировавшихся трех недель, выбрался в Москву, где наполовину прозрел — составил его итоговую характеристику, однако не отказался от решения переехать туда с семьей. «...Вчера вечером очутился здесь, — пишет он жене из Москвы, — и все, что надобно, сделал, никто глазам не верит, что я в самом деле я, и не на Невском проспекте, а на Арбате. Любовь носит быстро, я летел к тебе, мой друг, и дни через четыре <...> поскачу во Владимир» [Герцен 22: 68]. Характерны выбранные автором этих строк «стремительные» глаголы — «очутился», «летел», «поскачу». Все три актуализируют нарративные стратегии волшебной сказки, называя действия, возможные в фантастическом, но никак не в реальном пространстве. Первый, «очутился», — в наибольшей степени: совершенно неожиданно и невероятно, вопреки законам физического мира, будто по мановению волшебной палочки. Второй — в меньшей, но тоже очень выраженной: «летел» — будто на ковре-самолете либо на птице. Третий — в еще меньшей степени: «поскакать» можно, конем, но можно и верхом на коне. Все три следующие друг за другом предиката как бы визуализируют постепенное высвобождение автора письма из власти фантазмагорического пространства и возвращение в реальный мир. Его, опять же в соответствии с традицией сказки, возвратившегося из пути-дороги после испытаний, ждет его любимая и семейное счастье. Вместе с тем примечательно, что два последних предиката — «лететь» и «скакать» — входят в число наиболее характерных, как показало исследование В. Н. Топорова, для Петербургского текста [Топоров: 61]. Влияние образа Северной столицы на Герцена оказалось неизгладимым.

В петербургском пространстве, куда он прибыл восторженным романтиком, с соответствующими ожиданиями, всего за десять декабрьских дней 1839 г., там проведенных, под его влиянием — Герцен начал

меняться, как свидетельствуют его письма: их содержание, система образов, сама тональность. Он изживал свой юношеский идеализм, обращаясь от мира мечты — к действительности. Приближался период кризиса и «разочарования» [Фреде], вместе с тем — период возмужания. Завершая в конце 1830-х гг. романтическую эпоху своей жизни, Герцен вступал в эпоху личностной и писательской зрелости.

Список литературы

Источники

Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 21, 22.

Гоголь Н. В. Невский проспект // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: АН СССР, 1938. Т. 3. С. 9–46.

Из Владимирской жизни Герценов. Письма мужа и жены (Публ. Е. С. Некрасовой) // Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1898. С. 68–102.

Киреевский И. В. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 1. 608 с.

Исследования

Анциферов Н. П. Душа Петербурга. СПб.: Изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1922. 227 с.

Кузьмина М. Д. Категория пространства в письмах А. И. Герцена 1830-х годов // Десятые Герценовские чтения: материалы Всеросс. науч. конф.. Киров: Кировская областная научная б-ка им. А. И. Герцена, 2012. С. 120–141.

Кузьмина М. Д. «Инфернальный фон» провинции и рецепция жанра «путешествия» в повести А. И. Герцена «Записки одного молодого человека» // Русская литература XI–XXI веков: проблемы типологии, поэтики, интерпретации, перевода. Стамбул: Изд-во Фатих Университета, 2011. С. 158–173.

Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государственного университета. СПб.; Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1984. Вып. 664: Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам VIII. С. 30–44.

Перкаль М. К. Герцен в Петербурге. Л.: Лениздат, 1971. 215 с.

Румановская Е. Л. Петербург глазами А. И. Герцена // Печать и слово Петербурга (Петербургские чтения — 2007): сб. науч. тр. СПб.: СПГУТД, 2008. С. 306–314.

Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство, 2003. С. 7–118.

Фреде В. История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А. И. Герцена — Н. П. Огарева 1830–1840-х гг. (Пер. с англ. С. Силаковой) // Новое литературное обозрение. 2001/3. № 49. С. 159–190.

Штейнгольд А. М. Москва и Петербург в интерпретации В. Г. Белинского и

А. И. Герцена // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения — 2003). СПб.: Петербургский ин-т печати, 2003. С. 277–282.

References

Antsiferov, N. P. *Dusha Peterburga* [*The Soul of Petersburg*]. St. Petersburg, “Brokgauz-Efron” Publ., 1922. 227 p. (In Russ.)

Kuz'mina, M. D. “Kategoriia prostranstva v pis'makh A. I. Gertsena 1830-kh godov” [“The Category of Space in A. I. Herzen’s Letters of the 1830s”]. *Desiatye Gertsenovskie chteniia: materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii* [*The 10th Herzen Readings: Proceedings of All-Russian Scientific Conference*]. Kirov, Herzen Kirov Regional Scientific Library Publ., 2012, pp. 120–141. (In Russ.)

Kuz'mina, M. D. ““Infernal'nyi fon' provintsii i retseptsiiia zhanra ‘puteshestviia’ v povesti A. I. Gertsena ‘Zapiski odnogo molodogo cheloveka.’” [“The ‘Infernal Background’ of the Province and the Reception of the ‘Travel’ Genre in A. I. Herzen’s Story ‘Notes of a Young Man.’”] *Russkaia literatura XI–XXI vekov: problemy tipologii, poetiki, interpretatsii, perevoda* [*Russian Literature of the 11th–21st Centuries: Problems of Typology, Poetics, Interpretation, and Translation*]. Istanbul, Fatikh Universitet Publ., 2011, pp. 158–173. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. “Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda” [“Symbolism of St. Petersburg and Problems of Semiotics of the City”]. *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta* [*Scientific Notes of Tartu State University*], issue 664: Semiotika goroda i gorodskoi kul'tury. Trudy po znakovym sistemam VIII [Semiotics of the City and Urban Culture. Works on Sign Systems VIII]. St. Petersburg, Tartu, Tartu State University Publ., 1984, pp. 30–44. (In Russ.)

Perkal', M. K. *Gertsen v Peterburge* [*Herzen in St. Petersburg*]. Lenngrad, Lenizdat Publ., 1971. 215 p. (In Russ.)

Rumanovskaia, E. L. “Peterburg glazami A. I. Gertsena” [“St. Petersburg Through the Eyes of A. I. Herzen”]. *Pechat' i slovo Peterburga (Peterburgskie chteniia — 2007)* [*The Press and Word of St. Petersburg (St. Petersburg Readings — 2007)*]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design Publ., 2008, pp. 306–314. (In Russ.)

Toporov, V. N. “Peterburg i ‘Peterburgskii tekst russkoi literatury.’” [“St. Petersburg and the ‘St. Petersburg Text of Russian Literature.’”] Toporov, V. N. *Peterburgskii tekst russkoi literatury* [*St. Petersburg Text of Russian Literature*]. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2003, pp. 7–118. (In Russ.)

Frede, V. “Istoriia kollektivnogo razocharovaniia: druzhba, нравstvennost' i religioznost' v družeskom krugu A. I. Gertsena — N. P. Ogareva 1830–1840-kh gg.” [“The History of Collective Disappointment: Friendship, Morality, and Religiosity in the Friendly Circle of A. I. Herzen and N. P. Ogarev in the 1830s–1840s”]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 49, 2001/3, pp. 159–190. (In Russ.)

Shteingol'd, A. M. “Moskva i Peterburg v interpretatsii V. G. Belinskogo i A. I. Gertsena” [“Moscow and Petersburg as Interpreted by V. G. Belinsky and A. I. Herzen”]. *Pechat' i slovo Sankt-Peterburga (Peterburgskie chteniia — 2003)* [*The Press and Word of St. Petersburg (St. Petersburg Readings — 2003)*]. St. Petersburg, Saint-Petersburg Institute of Printing Arts Publ., 2003, pp. 277–282. (In Russ.)